

Социальное пространство и символическая власть

1989

Запись выступления на открытии Французского центра в Университете Фрайбурга, Германия, 30 октября 1989 года.

Сегодня я предлагаю вам некоторые размышления, которыми хотелось бы заменить ритуальные приветствия французско-немецкой дружбы с обязательными экивоками на идентичность и самобытность. Думаю, что в дружбе, как и всюду, здравомыслие не отрицает привязанности, скорее даже наоборот. Мне хотелось бы поразмышлять о социальных условиях международной циркуляции идей или, пользуясь экономической терминологией, которая всегда даёт эффект разрыва, о том, что можно назвать интеллектуальным импортом-экспортом. Попытаюсь описать если не законы — я ещё недостаточно поработал, чтобы говорить таким претенциозным образом, — то тенденции такого рода международных обменов, которые мы привычно описываем на языке скорее мистики, чем разума. Короче говоря, я попытаюсь сегодня представить программу исследования международных отношений в области культуры.

Прежде всего можно было бы обратиться к истории отношений Франции и Германии после Второй мировой войны, а точнее, к той работе, которая была проделана, в особенности на уровне поля политики, чтобы содействовать развитию общения и понимания между двумя странами. Здесь потребовался бы бескомпромиссный исторический анализ символической работы, необходимый для очищения — по крайней мере в отношении определённой части населения — от фантазмов прошлого. Помимо официальной работы официальных инстанций в её символическом и практическом плане, следует проанализировать различного рода действия, которые могли способствовать изменению отношений между французами и немцами в аспекте их социального разнообразия. Например, можно в рамках изучения интеллектуального поля описать этапы работы по коллективной конверсии, где со стороны французских интеллектуалов будет наблюдаться вначале примирение, а затем очарование «немецким чудом», заканчивая сегодняшней фазой амбивалентного восхищения, выражающейся в некоторого рода волюнтаристской европеизации, с помощью которой многие «рабочие одиннадцатого часа» пытаются найти замену их почившему в бозе национализму. (Здесь П. Бурдьё обращается к евангельской параболе (Св. Матфей), выражающей милость божью к тем, кто поздно обратился в истинную веру. — Прим. пер.) Но вы, конечно, понимаете, что я не собираюсь довольствоваться подобным поверхностным и беглым рассмотрением.

Что же мы можем сегодня сделать, если по-настоящему хотим способствовать интернационализации интеллектуальной жизни? Часто считают, что интеллектуальная жизнь интернациональна «по определению». Нет ничего более ошибочного. В интеллектуальной жизни, как и любом другом социальном пространстве, находят своё место национализм и империализм, а интеллектуалы — практически так же, как и все, — распространяют предрассудки, стереотипы, общепринятые мнения и представления, очень поверхностные и элементарные, которые питаются случаями из обыденной жизни, непониманием, недоразумениями и обидами (например, обидой, какую может нанести нарциссизму известного в своей стране человека факт быть неизвестным в другой стране). Всё это заставляет меня думать, что установление истинного научного интернационализма, который, на мой взгляд, есть начало интернационализма вообще, не может происходить без специальных усилий. Будь то область культуры или какая-то другая область, я не верю в *laisser-faire*. Я хочу показать, как в международных обменах логика *laisser-faire* часто приводит к тому, что начинает циркулировать самое плохое, а самое хорошее не может войти в оборот. В этом вопросе, как и в других, мной движет сциентистская убеждённость, которая сегодня не в моде, ведь «все мы постмодернисты»... Она приводит меня к мысли, что если нам известны социальные механизмы, то хотя это и не даёт нам возможности ими полностью управлять, зато немного увеличивает наши шансы влиять на них, особенно в том случае, когда их действие основано на незнании. Существует самостоятельная сила познания, которая в определённой мере может разрушить это не [при]знание. Я говорю «в определённой мере», поскольку «присущая истинным идеям сила» наталкивается на сопротивление, связанное с интересами, предрассудками и страстями. Эта сциентистская убеждённость склоняет меня к мысли о важности создания европейской научной исследовательской программы по европейским научным связям. Я считаю, что сейчас место и время говорить об этом, поскольку знаю, благодаря текстам Йозефа Юрта и его коллег (Joseph Jurt — директор Французского центра Фрайбургского университета. — Прим. пер.), что одна из целей открываемого сегодня Центра состоит именно во взаимопознании наших двух стран, двух традиций. Мне хотелось бы внести свой вклад в достижение этой цели, показав — весьма скромно, — как мне видится это предприятие, и что я бы сделал, если бы оно было возложено на меня.

Международные обмены подчиняются определённому числу структурных факторов, порождающих недоразумения. Первый фактор: тексты циркулируют вне своего контекста. Это положение сформулировал мимоходом Маркс в «Манифесте Коммунистической партии», где не принято искать теорию рецепции... Маркс заметил, что немецкие мыслители всегда очень плохо понимаются французскими мыслителями, поскольку они воспринимают эти тексты, которые были носителями определённой политической конъюнктуры, как «чистые» тексты, и трансформируют политического агента, находящегося в основании этих текстов, в трансцендентального субъекта. Таким образом, многие недоразумения при международном общении происходят из того, что тексты не носят вместе с собой своего контекста. Рискую удивить и шокировать, скажу, что только логика структурного недоразумения позволяет понять такой удивительный факт, когда социалист, Президент Республики, приезжает вручать французский орден Эрнсту Юнгеру. Или другой пример: в пятидесятые годы Хайдеггер был признан некоторыми кругами французских марксистов. Я мог бы привести и более актуальные примеры, но поскольку сам являюсь заинтересованным лицом, то не буду этого делать, чтобы вы не подумали, что я неправоммерно пользуюсь символической властью,

которая мне сегодня выпала, чтобы свести счёты с отсутствующими здесь соперниками.

Факт, что тексты циркулируют вне своего контекста, что они не переносятся вместе с полем производства — воспользуюсь моим лексиконом, — продуктом которого они являются, усугубляется тем, что воспринимающая сторона, состоящая в свою очередь в другом поле производства, даёт им иную интерпретацию, зависящую от структуры воспринимающего поля. Этот факт порождает удивительные недоразумения. Из такого описания, которое мне кажется объективным, можно сделать как оптимистические, так и пессимистические выводы. Например, если некто обладает определённым авторитетом в своей стране, то не обязательно будет пользоваться им в другой: прочтение в чужой стране может порой иметь большую свободу, чем в собственной, где национальное прочтение подчиняется эффектам символического давления, господства или даже принуждения. Это подталкивает к мысли, что оценка в чужой стране сродни оценке в будущем. Если в целом будущее судит лучше, то скорее всего потому, что современники являются конкурентами, в их тайных интересах не понимать и даже не давать понимать другим. Зарубежье, как будущее, отстоит на некоторой дистанции, пользуется определённой автономией по отношению к социальным требованиям поля. На самом деле, эффект этот в большей степени мнимый, чем действительный, и очень часто те, кто имеет власть над институтами («величества учреждений», как их называл Паскаль), с успехом пересекают границы, поскольку «интернационал мандаринов» функционирует очень хорошо.

Таким образом, смысл и функция иностранного произведения определяются, по меньшей мере, настолько же полем рецепции, насколько и полем происхождения. Во-первых, смысл и функция в исходном поле часто совершенно не известны. Кроме того, перенос из национального поля в другое происходит посредством целого ряда социальных операций: операция выбора (что переводить, что печатать, кто будет переводить, кто будет издавать); операция придания новой марки продукту (создание бренда), лишившемуся своего «грифа», с помощью имени издательства, серии, переводчика и автора предисловия (который представляет произведение, но при этом его аннексирует и приспособливает к собственному видению или как минимум к проблематике, актуальной в поле рецепции, и который только в виде исключения реконструирует исходное поле, поскольку это слишком трудно); операция чтения, наконец, поскольку читатели применяют к произведению собственные категории восприятия и проблематику, порождённую другим полем производства.

Пройдусь быстро по всем перечисленным пунктам. Вхождение в поле рецепции является особым предметом исследования, столь же фундаментальным, сколь и актуальным, как по причинам научного порядка, так и по практическим причинам, если мы хотим интенсифицировать и усовершенствовать коммуникацию между европейскими народами. Я надеюсь организовать коллоквиум, целью которого будет анализ процесса отбора: кто выступает отборщиком, то есть кто выступает так называемым «сторожем» (gate-keepers), пользуясь терминологией американских социологов знания? Кто выступает «первооткрывателем» и в чём интересы таких «открытий»? Я хорошо знаю, что слово «интерес» шокирует. Однако думаю, что тот, кто присваивает себе — с самыми добрыми намерениями — какого-то автора и становится с помощью введений и предисловий его «проводником», получает субъективную выгоду, чистую и возвышенную и вместе с тем

достаточно ощутимую, чтобы понять, что он делает то, что нужно. (Немного материализма, считаю, не помешает и ничуть не убавит нашего восхищения.) То, что я называю «интерес», может быть результатом некоторого сродства, связанного с идентичностью (или гомологией) позиций в разных полях. Например, неслучайно, что Бенет, крупный испанский романист, вышел в издательстве «Editions de Minuit». Публиковать то, что мне нравится, значит усиливать собственную позицию в поле, хочу я этого или нет, знаю я об этом или нет, даже если этот результат и вовсе не входил в мои планы. В этом нет ничего плохого, просто нужно это знать. Взаимные и чистые выборы часто происходят на основе гомологии позиций в различных полях, чему соответствует определённая гомология интересов, а также гомология стилей, интеллектуальных предпочтений, интеллектуальных проектов. Подобные обмены можно понимать как альянсы или, в логике отношений силы, как способы придания силы подчинённой, находящейся под угрозой позиции.

Помимо избирательного сродства между «творцами», к которому я, как вы, должно быть, чувствуете, имею определённую снисходительность, существуют «клубы взаимного обожания», значительно менее легитимные, на мой взгляд. Они наделены властью светского типа при определении культурного или, если угодно, духовного порядка, что полностью соответствует определению *tyrannie* по Паскалю. Тут можно привести в качестве примера Интернационал истэблишмента, то есть обмены, устанавливаемые между лицами, занимающими самые высокие академические посты. Значительная доля переводов может быть понята, только если восстановить сложную сеть международных обменов между обладателями доминирующих академических позиций, обмен приглашениями, почётными степенями, *honoris causa* и другие. Следовательно, нужно спросить себя, в чём состоит логика выборов, приводящая к тому, что такой-то издатель или такой-то автор принимают на себя задачу стать импортёром такой-то мысли. Почему этот публикует того? Конечно же, есть определённая прибыль от апроприации. Импорт еретических идей часто является делом маргиналов в поле, которые импортируют мысль или положение, обладающие силой в другом поле, а в результате улучшают собственные подчинённые позиции. Иностранные авторы часто становятся объектом сугубо инструментального использования: их используют в целях, которые они, может быть, отвергли или осудили бы в собственной стране. Можно, например, использовать иностранного автора, чтобы принизить национальных. Возьмём Хайдеггера. Многие здесь присутствующие спросят, почему французы так заинтересовались Хайдеггером? На это есть масса резонов, можно сказать, даже слишком много... Но есть объяснение, которое бросается в глаза. А именно, как показала Анна Боскетти в своей книге о Сартре и «*Les Temps modernes*», тот факт, что в пятидесятые годы интеллектуальное поле было полностью подчинено Сартру. Одной же из наиболее важных функций Хайдеггера стала дисквалификация Сартра (профессора говорили: «Весь Сартр есть в Хайдеггере и получше того»). С одной стороны, был Бофре, одноклассник Сартра по Высшей Педагогической школе, который занимал конкурирующую позицию и, преподавая на подготовительных курсах в лицее Генриха IV (*khdgne*), создал себе имидж почти философа за счёт импорта Хайдеггера во Францию. С другой стороны, в поле литературы, был Бланшо. Была ещё третья категория — люди из «*Arguments*», своего рода марксистские еретики мелкого пошиба. Поскольку марксизм соотносился слишком явно с вульгарной стороной, они осуществили шикарную комбинацию марксизма с Хайдеггером.

С иностранными авторами часто бывает так, что важно не то, что они сказали, а то, что можно сказать через них. Вот почему некоторые особо гибкие авторы циркулируют очень хорошо. Великие пророчества многозначимы. Это одна из их добродетелей, а потому они пересекают времена и пространства, эпохи и поколения. Следовательно, мыслители, обладающие хорошей растяжимостью, — это благодарная почва для аннексических интерпретаций и стратегического использования. После отбора есть процедура создания марки, которая в некотором роде завершает работу. Вам не просто дают Зиммеля, вам его дают с предисловием такого-то. Нужно провести сравнительное социологическое исследование предисловий: это типичные акты переноса символического капитала, по крайней мере, чаще всего происходит так. Например, Мориак написал предисловие к Соллерсу: знаменитый старец пишет предисловие и передаёт свой символический капитал, и в то же время он демонстрирует свою способность «открывателя талантов» и свою щедрость в защите молодёжи, которую он признает и узнает себя в ней. Существует масса обменов, где недобросовестность играет огромную роль, а социология с лёгкой помощью объективации могла бы усложнить им жизнь. Вместе с тем, направление циркуляции символического капитала не всегда одинаково. Учитывая правила жанра, по которому автор предисловия идентифицируется с автором, Леви-Строс написал предисловие к трудам Мосса и тем самым присвоил себе символический капитал автора «Опыта о даре». Оставляю вам возможность самостоятельно подумать об этом. (Часто люди драматизируют такого рода анализ, а мне хотелось использовать ситуацию устного выступления, чтобы показать, что это скорее занимательно, во всяком случае, меня это сильно развлекает...)

В конце всего этого импортированный текст получает новую марку. Он отмечается определённой обложкой: вы представляете себе обложки книг разных издательств и даже разных серий каждого издательства, и вы знаете, что каждая из них значит, через соотнесение с пространством немецких издателей, которое есть у вас в голове. Если вы замените обложку, например, «Suhrkamp» на обложку «Seuil», то смысл марки, предписанной произведению, полностью меняется. Если существует структурная гомология, то трансферт может пройти достаточно хорошо, но часто случаются провалы; есть люди, которые падают мимо «подстеленной соломки». Либо случайно, либо по незнанию, но часто ещё и потому, что становятся объектами аннексии и апроприации. В данном случае простой эффект обложки — это уже символическое давление. Приведу один очень хороший пример: Хомски был опубликован в «Seuil», в философской серии. Для меня «Seuil» значит «левые католики» и в целом персоналисты. Хомски оказался сразу отмеченным определённой маркой через типичную стратегию аннексии. Опубликовать Хомски в «Seuil», в окружении, маркированном Рикером, означало столкнуть структурализм «без субъекта» (как говорили в то время) с субъектом порождающим, креативным и так далее. Таким образом, с включением в серию, добавлением предисловия, учитывая его содержание, а также положение автора предисловия в пространстве, совершается целый ряд превращений и даже извращений исходного авторского послания.

В действительности, структурные эффекты, которые, потворствуя невежеству, делают возможными все эти трансформации и деформации, связанные со стратегиями использования текстов и авторов, могут осуществляться и без специального намерения манипулировать. Различия между историческими традициями столь велики — как в собственно интеллектуальном поле, так и в социальном поле в целом, — что применение к

иностранному культурному продукту категорий восприятия и оценки, усвоенных в результате нахождения в национальном поле, может создать ложные оппозиции между похожими вещами и ложные сходства между разными вещами. Продемонстрировать это можно, например, с помощью детального анализа отношений между французскими и немецкими философами, начиная с шестидесятых годов XX века, и показать, как полностью сходные интенции в условиях сильно различающихся контекстов, интеллектуальных и социальных, нашли выражение в разных философских позициях и течениях, с виду полностью противоположных. Перефразируя в более неожиданной и более причудливой манере, можно спросить себя, не был бы Хабермас гораздо менее далёк от Фуко, чем нам сейчас кажется, если бы он сформировался как философ во Франции в 1950–1960-е годы, и не был бы Фуко намного менее отличен от Хабермаса, если бы получил образование и состоялся как философ в Германии того же времени. (Заметим в скобках, что для того и другого мыслителя, за внешней видимостью свободы от контекста, общим является очень тесная связь с этим контекстом, помимо прочих причин ещё и потому, что в своём гегемоническом устремлении они столкнулись с глубоко различающимися интеллектуальными традициями, присущими каждой из стран.) Например, прежде чем начать добродетельно возмущаться вместе с некоторыми немцами тем, что сделали с Ницше некоторые французские философы (в особенности Делёз и Фуко), следовало бы понять функцию, которую Ницше (и какой Ницше? тот, что в «Генеалогии морали» у Фуко?) смог выполнить в поле философии, где в лице Университета доминирует субъективистско-спиритуалистический экзистенциализм. «Генеалогия морали» выступила в роли философской гарантии, способной сделать философски приемлемыми старые сциентистские и даже позитивистские подходы, воплощённые в устаревшем образе Дюркгейма, какими были социология познания и социальная история идей. Так, в своём усилии противопоставить антиисторическому рационализму историческую науку исторического разума (с её идеей «генеалогии» и таким понятием как «эпистема») Фуко способствовал тому, что может показаться немцам, для которых Ницше имеет совершенно иное значение, реставрацией иррационализма, против которого Хабермас и другие (например, Отто Апель), создавали свой философский проект. Если бы мне довелось выступить третьей стороной в этом споре, то не уверен, что оппозиция между историческим рационализмом (защитником которого я являюсь, поддерживая идею социальной истории разума и поля науки как места исторического генезиса социальных условий производства разума) и неокантианским рационализмом, предлагающим себя в качестве научного основания и опирающимся на достижения лингвистики (как у Хабермаса), оставалась бы столь же радикальной, как кажется на первый взгляд. Рационалистический релятивизм и просвещённый абсолютизм могут встретиться при защите *Aufklärung*... Возможно потому, что они выражают одну и ту же интенцию при различии системы. Конечно, я преувеличиваю, стремясь «повернуть палку другим концом». Однако, как я считаю, различия не там, где их так долго искали, что был забыт эффект преломления, который национальные интеллектуальные поля и формируемые ими категории восприятия и мышления оказывают как на производство, так и на рецепцию научной продукции.

Вот почему дискуссии, возникающие в настоящее время (что уже является определённым прогрессом по сравнению с предыдущим периодом, когда европейские учёные общались с американскими только через третьи лица), остаются так часто искусственными и нереальными. Эффекты аллодоксии, порождённые структурными разрывами между

контекстами, служат неиссякаемыми источниками недобросовестной полемики и взаимных обвинений в фарисействе, где преуспевают посредственные и безответственные эссеисты, как, например, творцы мифа о «мысли 1968 года» или обличители доблестей «цинизма». (Здесь автор намекает на авторов книги «Pensee 68» Люка Фери и Алена Рено. — Прим. пер.) Достаточно небольших познаний в истории, чтобы заметить тягу мелких интеллектуалов к выполнению роли поборников справедливости, а точнее, становиться Фукье-Тенвиллями или Ждановыми, правыми или левыми, которые, как мы недавно наблюдали в связи с делом Хайдеггера, подменяют логику критической дискуссии, стремящейся понять доводы или причины противоположной стороны, логикой судебного процесса.

Realpolitik разума, которую я не устаю защищать, должна, следовательно, озаботиться разработкой проекта по созданию социальных условий рационального диалога. Иначе говоря, стремиться развивать осознание и понимание законов функционирования разных национальных полей, поскольку искажения текстов тем вероятнее, чем меньше знание контекста создания текста. Проект этот может показаться банальным, если не обратиться к деталям его реализации. На самом деле нужно научное изучение национальных полей производства и национальных категорий мышления, в которых знание формируется и широко распространяется, в частности, благодаря преподавателям иностранных языков и культур. Чтобы представить себе сложность такого предприятия, достаточно указать на первое препятствие, с которым оно непременно столкнётся, а именно спонтанную социологию различий между национальными традициями, которую «специалисты» в международных обменах, германисты и романисты, например, производят и воспроизводят на базе приблизительного и плохо осмысленного знакомства. К тому же часто в её основе лежит забавная снисходительность, очень близкая мягкому расизму того, кто «хорошо их знает», кто «не собирается их обижать» и кто, «считая их ужасными, всё равно хорошо к ним относится» (отношение, часто встречающееся у специалистов по чужестранным цивилизациям: «японистов» или «ориенталистов»).

Свободу от национальных категорий мышления, посредством которых мы мыслим различия между результатами применения этих категорий, можно обрести лишь через усилие по осмыслению и экспликации этих категорий. Следовательно, социология и социальная история, рефлексивные и критические (в кантовском смысле), должны бы задаться целью пролить свет на структуры национального культурного бессознательного, чтобы лучше разобраться в них с помощью научного социоанализа. Они могли бы раскрыть — посредством исторического анамнеза обеих национальных историй, а в особенности истории образовательных институтов и полей культурного производства, — исторические основания категорий мышления и проблематику, которые социальные агенты применяют, сами того не замечая, в своей деятельности по культурному производству и рецепции продуктов культуры.

Нет более актуальной задачи, чем исследование сравнительной истории различных дисциплин, подобное тому, что предприняли Исаак Кива (Isaac Chiva) и Утц Егл (Utz Jeggle) в этнологии. Действительно, только сравнительная социальная история социальных наук может освободить от исторически унаследованных способов мышления, давая при этом средства убедиться в сознательном владении усвоенными в процессе обучения формами классификации, неосознанными категориями мышления и обязательной проблематикой. На

примере антропологии можно ясно видеть, что сравнение часто показывает произвольность или связь с каким-то необязательным контекстом всего того, что ранее считалось необходимым. Сами слова — этнология или *Volkstunde*, — обозначающие дисциплину, нагружены прошлым неявных традиций, что разделяет эти два теоретически эквивалентных термина на протяжении всей истории двух полей. Адекватно понять предметы и программы исследований, проводимых в этих двух дисциплинах, значило бы понять всю историю отношений каждого из этих полей с полем политики, что находит концентрированное выражение в различии между французским словом «populaire» (как в случае Музея народных искусств и традиций) и немецким «volk» и «volkisch» (национальный, националистический). Это различие между левой традицией, связанной с государством, которая отстаивалась в борьбе с правыми, ориентированными на фольклор и на народ в смысле Ле Пле, и консервативной традицией, отождествляющей народ с нацией, родиной (Heimat) и крестьянской общиной (Gemeinschaft). Кроме того, это значило бы понять положение антропологии в иерархическом пространстве дисциплин: со стороны позитивных наук, слегка презираемых во Франции, со стороны «германистики» — в Германии. Затем, рассмотреть все различия, вытекающие из этих основных оппозиций.

Система образования есть одно из мест, где в дифференцированных обществах производятся и воспроизводятся системы мышления — эквивалент, внешне более утончённый, «примитивных форм классификации», инвентаризацию которых в отношении дописьменных обществ, не имеющих института образования, проводили Дюркгейм и Мосс, следуя при этом кантовской логике. Структурным оппозициям «сухое-влажное», «восток-запад», «варёное-сырое», которые вошли в таблицу категорий архаического понимания, поставлены в соответствие такие оппозиции, как «объяснять-понимать», «количество-качество», которые коллективная история системы образования и индивидуальная история образовательной траектории вложили в просвещённое понимание каждого, прошедшего через систему образования.

Такие системы оппозиций включают инварианты (как те, которые я только что приводил и которые через преподавание философии, где господствует немецкая традиция, проникли во французское образование), а также национальные вариации. Точнее говоря, доминирующие традиции у каждой нации могут придавать противоположное значение концам одних и тех же оппозиций. Например, вторичные оппозиции, группировавшиеся вокруг центральной, столь значимой для академической мысли Германии, по крайней мере, вплоть до Второй мировой войны — оппозиции между *Kultur* и *Zivilisation*, служили различению германской традиции, благородной и аутентичной, и французской традиции, поддельной и поверхностной. Здесь налицо противопоставление глубокого или серьёзного блестящему или поверхностному, мысли или чувства стилю или духу, философии или филологии литературе и тому подобное. Доминирующая французская традиция (примирившая подготовительные курсы в *Grandes Ecoles* лица Генриха IV — центра французской образовательной системы, с «*Nouvelle Revue Française*», Алена и Валери) применила к себе эту оппозицию, поменяв знаки на противоположные: глубина стала тяжеловесностью, серьёзность — школьным педантизмом, поверхностность — французской ясностью.

Нужно держать все это в уме — я хочу сказать в сознании, а не в бессознательном, — чтобы понять, что Хайдеггер — это Ален со скидкой на систему, и наоборот. Тогда как первый

воспринимался и использовался во Франции как совершенная антитеза второму. В самом деле, благодаря уловкам исторического разума, которые так затрудняют доступ к интеллектуальной свободе, мифическая оппозиция двух традиций, французской и немецкой, заставила считаться с собой как тех, кто восставал против неё в каждой из двух стран, так и тех, кто наивно принимал её на свой счёт; тех, кто надеялся найти свободу от навязываемых форм мышления, попросту меняя знаки в доминирующей оппозиции, принимаемой как таковая довольными националистами. В Германии на протяжении всего XIX века и ещё сегодня (чем иначе объяснить определённый успех некоторых течений постмодерна?) многие молодые интеллектуалы прогрессисты искали во французской мысли антитот всему тому, что они ненавидели в немецкой мысли. В то время как молодые французы прогрессисты делали то же самое, но в обратном направлении. Это оставляло и тем и другим немного шансов встретиться в пути... (Ален (Alaine), настоящее имя Эмиль-Огюст Шартье (1868–1951), французский философ и эссеист, преподававший философию в провинции и в Париже и публиковавший свои эссе в «Nouvelle Revue Française» («Новом французском журнале»); хотел вернуть философии изначальное значение «этики»; взяв в пример Сократа, создал свою философскую систему, близкую к феноменологии; мнил себя спасителем человечества от тирании и занимал радикальную либеральную и демократическую позицию в политике. — Прим. пер.)

В самом деле, бессмысленно отрицать существование глубинного интеллектуального национализма, базирующегося на истинных национальных интеллектуальных интересах, однако международная борьба за господство в сфере культуры и за признание принципа доминирующего господства (то есть за навязывание частного определения легитимного осуществления культурной деятельности, основанной, например, на примате культуры, глубины, философии и тому подобным, а не на цивилизации, ясности, литературе и тому подобному) находит своё наиболее прочное основание в борьбе, происходящей в границах каждого национального поля, во внутренней борьбе, в которую вступают национальное определение и иностранное определение, становясь не только оружием, но и целями этой борьбы. Понятно, что в таких условиях чехарда и путаница становятся почти правилом. Нужно обладать большой интеллектуальной независимостью и теоретической здравостью, чтобы увидеть, что Дюркгейм, восставший против доминирующего интеллектуального режима, с которым прекрасно ладил Бергсон, находится «в одном лагере» с Кассирером (последний открыто связывал в примечании к «The Myth of the State» свои «символические формы» с «примитивными формами классификации» Дюркгейма), в противовес которому Хайдеггер развил разновидность бергсоновской *Lebensphilosophie*... Можно продолжать умножать примеры таких эффектов перекрещивания, которые — способствуя альянсам или отказам от них, одинаково основанным на недопонимании, — препятствуют или сводят к минимуму накопление исторических достижений разных традиций и интернационализации (или «денационализации») категорий мышления, которая является первейшим условием истинного интеллектуального универсализма.

Версия #2

Зверобой создал 18 января 2026 03:17:23

Зверобой обновил 18 января 2026 04:05:11